

# Непрощенный

Году в восемьдесят девятом Юрий Грунин прислал свои стихи в «Собеседник» – мы были издание молодое, смелое, и он надеялся, что мы рискнем. Я тогда только что пришел в газету после армии. Письмо попало ко мне случайно – из кабинета редакторы отдела искусств выбрасывали ненужные бумаги, и я обратил внимание на машинописные стихи. Конечно, никто его тогда не напечатал. Мы публиковали тогда авангардистов, а лагерями все уже обьялись. Поразил меня сдержанно-галантный тон письма, обращение «сударыня» и три очень сильных стихотворения, страшных и коротких, про плен и про сталинские рудники. Год спустя подборка Грунина с короткой врезкой появилась в «Огоньке»: туда стихи принес Дмитрий Сухарев, автор легендарной «Бричмулы», узнавший о джезказганском поэте совершенно случайно – тот нашел у Сухарева в азиатских стихах какую-то фактическую неточность, уважительно о ней сообщил из своей степной глупши, завязалась переписка, и Грунин прислал ему подборку. Одно стихотворение из «Огонька» Евтушенко включил потом в антологию «Строфы века» – в литературной жизни Грунина это событие стало главным. В 1998 году он издал наконец книгу. Сейчас ему восемьдесят, на которые он примерно и выглядит: невысокий худой старик, седая бородка, зубов почти нет. Но он крепок еще и похож на старого Ленина – и не откращивается от этого сходства. Тем более что и родился в Симбирске, три года спустя ставшем Ульяновском, и слегка картавит («В плену немцы иногда подозревали из-за этого, что я еврей,- но у меня был стопроцентный контраргумент. Какой? Необразанность».)

Он гостеприимен, отвечает на любые вопросы без умолчаний, хотя и без особой охоты. Видна в нем не то чтобы настороженность – для настороженности поздно,- но закрытость, сдержанность. С некоторыми лагерниками – например, с Фридом – прекрасно было выпивать, они рассказывали дивные байки, но Грунин не пьет, разве стопку легкого вина, и в лагере не пил ничего, кроме один раз доставшегося ему на день рождения «Тройного» одеколона (и то тогдашняя его подруга уговарила отдать большую часть эликсира ей – чтобы хоть использовать его по назначению). С ним все уже случилось, поэтому ни напугать, ни заинтересовать, ни даже соблазнить его славой теперь нельзя. Среди разговора он вдруг спрашивает:

– Так я и не понимаю, зачем вы приехали.

Можно было бы сказать, что причина одна – на мой вкус, он один из крупнейших русских поэтов двадцатого века и тексты его должны в сокровищница этого века войти. Он достоин стоять в одном ряду пусть не с богами вроде Маяковского или Мандельштама, но с титанами – Слуцким, Твардовским, Окуджавой, Самойловым. Художник, скульптор, архитектор, блистательно начинавший литератор, он бесконечное число раз мог погибнуть, прошел ад лагерей и чистилище последующего потаенного, настороженного выживания, создал уникальный в русской литературе эпос о плене и заключении – не меньше трехсот первоклассных стихотворений, своего рода «Моабитская тетрадь» сталинских времен,- и до сих пор, даже и в так называемые свободные наши дни, ему ничем не воздалось. Конечно, он гордость Джезказгана и его достопримечательность. В гостинице меня сразу спросили:

– К Грунину?

– Как вы догадались?

– А у нас тут больше ничего нет.

Он строил этот город, он спроектировал больше четверти здешних домов и за последние тридцать лет выезжал отсюда считанные разы. И зачем? Жизнь сложилась, какой сложилась. «Я никогда не умел и не хотел себя навязывать». Он последний из живых главных поэтов этого века, так мне кажется. Последний нереабилитированный, непрощенный, неопознанный его летописец. Были в России летописцы плены и лагерей, но главным образом прозаики: даже Шаламов не стал втискивать в стихи самое страшное. Грунин – смог. Он, единственный, без надрыва и патриотической риторики, жестоко и скруто, опередив свое время, записал стихами самое страшное в истории века. Хотя, наверное, я все-таки не поэтому к нему приехал... но подробности позже.

«Цыгана ожидал расстрел за то, что он цыган. Цыган в тоске своей запел – и онемел наш стан. Пришел на голос конвоир и словно отупел. Потом позвал еще двоих – цыган все громче пел. Та песня скорбная плыла, она сердца рвала, и первый немец повелел перенести расстрел. До завтра приберечь талант – такой талант, мой Бог!- чтоб завтра утром комендант концерт послушать мог. Назавтра комендант пришел, и с ним собачья знать. Решили – надо им еще концерт кому-то дать. И вот в последний, третий раз цыган теперь поет. И мы поднять не можем глаз, а он расстрела ждет».

Грунин родился 26 мая 1921 года, а рожденные в мае, говорят, всю жизнь обречены маяться.

«Был сыном единственным, был для родителей перлом. Родился в Симбирске весной в девятьсот двадцать первом. Прийти до войны я хотел к вам – прийти было не с чем. Я рос простаком-недоделком, поэзии нищим».

Его заметили рано, начали печатать в тридцать девятом, хотя тогдашние его стихи выделяются на фоне поэтического мейнстрима тридцатых разве что ранней мастеровитостью и полным отсутствием

официозности. Году в тридцать седьмом он впервые задумался о том, что в стране неладно: арестовали отца его девушки, Елены, к которой обращена вся его военная и лагерная лирика. Перед войной Грунин поступил в Казанское художественное училище. Там на мемориальной доске, в списке погибших студентов, до сих пор значится его имя. Он узнал об этом случайно, от однокурсника, прочитавшего его подборку в «Огоньке». Их с однокурсником фамилии везде были рядом – в альманахе молодых литераторов, в классных журналах, теперь вот и на мемориальной доске. Он тоже жив и тоже тамувековечен. Россия – вообще расточительная страна, сыном больше – сыном меньше, мало ли у нас живых, чьи имена выбыты на обелисках, мало ли выживших, которых прочно считают мертвыми и предпочитают не помнить об их существовании.

– Программа училища строилась так: профессиональные навыки – на первых курсах, марксизм-ленинизм и научный коммунизм – на старших. До войны я успел изучить основы ремесла, а марксизм-ленинизм мне пришлось осваивать уже в других местах.

В нескольких редакционных предисловиях к его публикациям писали, что он – узник фашистских концлагерей. В концлагерях как таковых он не был – был сначала в лагере для военнопленных в деревне Малое Засово близ Старой Руссы, а потом попал в «Тодт», названный у Шолохова в «Судьбе человека» «шарашкиной конторой по строительству дорог». В плена Грунин оказался после контузии в бою за деревню Васильевщина: бой, как он полагает, был отвлекающим маневром, оставалось от их роты меньше взвода, в наступление они шли, как обычно, впереди автоматчиков, и автоматчики намекали, что если кто повернет – пристрелят свои же; это была довольно распространенная практика. Попали они, как в известном стихотворении Межирова, под огонь своей же артиллерии, которая что-то неверно рассчитала. Взрыв, как вспоминает Грунин, был похож на огромный огненный веник. Больше он не помнит ничего, а утром его подобрали штурмовики «Мертвой головы».

Случилось все это в мае, опять в мае, за две недели до его двадцать первого дня рождения, и надо же ему было прямо перед плением обменяться с другом сапогами. Другу сапоги были малы, Грунину – велики, а после обмена каждому пришли по ноге. Друга убили через день, Грунин выписывал его имя на могильной дощечке (ему, художнику, поручали иногда такие вещи). А еще через день контузило самого Грунина.

«Почему-то сапог перед носом немецкий. Кто-то шарил по мне, будто брал за долги с шапки воинской звездочки, фото невесты... Сапогом показал, чтоб я снял сапоги. Я сижу на земле, как на дне старой шахты. Нет ни мысли в уме, ни упора в ногах. В том последнем бою был в моих сапогах ты, я сегодня упал тут в твоих сапогах. Неподсудна судьба, обсудить ее не с кем. Саша, силы мои мне собрать помоги: я очнулся невольником в стане немецком, и на уровне глаз моих – их сапоги».

На работы в Германии его не отправили по причине малости роста – там нужны были здоровые, крепкие, а у него рост 163 сантиметра. Он пробыл около года в Малом Засове, где выдали им немецкие гимнастерки в запекшейся крови, снятые с мертвых. В плена, как ни странно, разговоры были посвободнее, чем в окопах, – многие ругали Сталина, почти все уничтожали документы, но Грунин сохранил завернутый в тряпичку комсомольский билет. Он берег его все три года плена. И все три года сочинял стихи: «Они мне были как псалмы. Я ими спасся».

Он ничего не записывал – было не на чем и нечем, все приходилось запоминать. Чтобы стихи запоминались – это вам скажет всякий их пишущий и просто много читавший, – они должны быть плотны, насыщенны, в них должно быть много словесной игры и блеска. И, таская камни или копая глину, он по слову их складывал. Текст выходил похож на каменную кладку – ни единого лишнего слова, ножа не всунешь: точность, и плотность, и напряженная звукопись. Думаю, в те времена – времена водянистой патриотической лирики – так больше не писал никто.

«Немец жрет на подоконнике с помидорами фасоль да мусолит на гармонике гамму до-ре-ми-фа-соль. Рыжий, из арийцев чёртовых, ест, как клоуны едят. На него две дуры чокнутых зачарованно глядят. Немец ест, а ты не ел давно, и в глазах твоих черно. И ведут тебя – неведомо, кто, куда и для чего. Немец – хвост трубою: держит он перед дурами фасон и старательно, со скрежетом пилит до-ре-ми-фа-соль. А тебя ведут допрашивать – что ты знаешь, кто таков, – станут уши охорашивать, чтоб ты слушал, бестолков, проиграют, как по клавишам, по белым твоим зубам, – словно гамму немец давешний на гармонике для дам. А потом пойдешь с допроса ты – коридорами, босой. Запеклась в ушах коростою, кровью до-ре-ми-фа-соль».

Эти виртуознейшие стихи – вслушайтесь только в рифмы – называются «Музыкальный момент». Согласитесь, мало кто тогда сочинял подобное. Грунин как-то вызывающе выламывается из времени – его точность, умение вплавить в стихи самую жуткую деталь, его черная ирония отсылают скорее к шестидесятым. Поэт, который весь день таскает камни или долбит землю, поэт, который ежесекундно унижен побоями, грязью, вшивым бельем и гнойными язвами, – не может позволить себе риторики, хотя бы и патриотической. Особенно если учесть, что лагерь их регулярно обстреливают со своих же самолетов:

«Об этом не хочется мне вспоминать, а вспомнишь – и сердце застынет. Родимая родина-мать – перенять прислала свинцовый гостинец».

И немцы злорадно замечают: «Не очень-то вы нужны Сталину!»

Но тогда он был уверен, что нужен. И что долг его – долг поэта – в том и состоит, чтобы для Родины все это записать, запомнить, дать ей представление о том, как они и в плена были ей верны.

— Я выжил только потому, что голова моя все время была занята этой граffоманией. Я меньше фиксировался на том, что надета на нас рвань, что кормят дважды в день жидкой баландой,- когда человек занят литературой, она его может отвлечь от чего угодно. Вот у меня в комнате некрашеный пол. Заметили?

— Не обратил внимания.

— Ну и я не обращаю. Я весь день режу по дереву или пишу, когда мне смотреть на пол?

Самое поразительное, что жизнь и тут брала свое. Грунин в молодости был красив, да еще происходил из интеллигентной семьи, так что мог пленить обхождением, остроумием,- он любил женщин, и чаще всего взаимно. И хотя он писал «Я бессилен, немощен, очень плох, мне не снятся женщины, видит Бог», - они, однако, снились, хотя хлеб снился чаще. Романы бывали и в плену – на дорожные или строительные работы на занятых немцами территориях выгоняли женщин из местных, кормили их вместе с нашими пленными, можно было успеть познакомиться и как-то сладиться... В сорок третьем Грунин был уже в «Тодте» и с ним, отступая, дошел до немецкого города Киля, где его с остальными выжившими и освободили англичане. С сорок четвертого пленных регулярно вербовали во власовцы, но Грунин не пошел: «Для меня это было неприемлемо».

— А как вы вообще относитесь к Власову? О нем же говорят разное...

— Как к Богу, о целях которого достоверно ничего не известно. Власов тоже многих спас, но не из человеколюбия,- просто так получилось, что часть РОА успела уйти из лагерей, подкормиться, а на фронт не попала. Так люди спаслись. Впрочем, им потом все равно дали по двадцать пять лет.

То было время относительной передышки, передышки блаженной – англичане хорошо кормили, можно было купаться в Северном море... Там он записал почти все, что три года таскал в голове. Начальство английской оккупационной зоны очень отговаривало русских пленных возвращаться к своим. «Вас тут же арестуют, а мы через год дадим вам гражданство, вы будете служить в колониях»... Грунин мог попасть в Индию или на Цейлон, стать гражданином империи, дожить век в безопасности, но сама мысль об английском подданстве была для него опять-таки неприемлема: «Не забывайте, я же русский граffоман. Мне хотелось писать по-русски и печататься. Мне хотелось русскими стихами рассказать про то, что я видел, - ну кому это нужно в Англии? Я и сейчас думаю, что правильно сделал...»

А 6 августа сорок пятого, ровно в тот день, в который бомбили Хиросиму, за ними пришла из советской оккупационной зоны машина, и всех пленных забрали. Поместили их сразу же в городскую тюрьму Бютцова, что на северо-востоке Германии. Там был теперь репатриационный лагерь – правда, их не запирали, можно было выходить. Разрешили писать письма. Грунин тут же написал родителям и стал по одному вкладывать в письма свои стихи – чтобы не пропали, чтобы хранились до его возвращения. Переслал почти полторы тысячи строк. Письма шли через цензуру, но Грунин и не мог заподозрить ничего ужасного – ведь это были стихи советского пленного, честные стихи, доказательство его несломленности!

Он был на хорошем счету – сохранил комсомольский билет, да еще художник, и ему стали поручать изготовление наглядной агитации для штаба – плакаты, оформление клуба... Он мог вольно ходить по городу, только ходить было особо некуда. Так он проработал год. И все это время его письма тщательно отслеживались, и ему готовили срок, и шили ему дело – при этом пользуясь его художническими навыками,- и продолжали ему обещать, что скоро он поедет на Родину. Это был цинизм небывалый, не умеющийся в голове. К тому же он сумел доказать, что в немецкой армии не служил, строительство дорог – это же не армия, он никогда бы не стал стрелять в своих... Но советским следователям нужно было непременно посадить хоть одного поэта из пленных, потому что следовало рапортовать об аресте автора гимна власовской РОА. Гимном власовской армии была песня из оперы 1934 года «Тихий Дон» – «За землю, за волю...». Когда оперу поставили, Грунину было тринадцать. Но требовался автор гимна. Грунину пообещали, что к сентябрю 1946 года он поедет на родину, доучиваться на художника, и, когда за ним в конце августа пришли, он был уверен, что сейчас отправят в Россию: почти всех репатриантов уже развезли, он думал – по домам... Его арестовали и месяц допрашивали по ночам, не давая спать днем. Ему припомнили ношение немецкой формы и приравняли это к службе в немецкой армии. Он отбивался от клеветы умело и яростно – убедил в своей невиновности одного следователя, прислали другого, постарше. Тот стал шантажировать его судьбой родителей. И Грунин стал подписывать протоколы: служил в немецкой армии... рисовал Гитлера...

— Вы слышали песню «Заземлю, за волю»?- спросили его.

— Слышал, но помню только первый куплет.

— Запишите и подпишитесь, что это ваша рука...

Он записал и был обвинен в сочинении власовского гимна.

На суде, состоявшемся 9 сентября 1946 года, прокурор просил для него высшей меры наказания. Грунин плакал и не мог ничего сказать. Ему учли «сознание вины» и дали десять лет да пять ссылки – стандартная формула «десять и пять по рогам». Видимо, даже следователи понимали абсурдность его дела. Но выпустить его не могли – теперь он это хорошо понимает. В сорок седьмом году он оказался в Соликамске, в Усольлаге, где, как он писал, «ни соли, ни Камы». Здесь со стихами его начинает что-то происходить – это уже другой автор и другая поэзия. В ней нет ни надежды, ни Родины. Считаться с Россией, упрекать ее он не стал,- написал единственное стихотворение о том, что Родина-мать неправа, и тему эту как отрезало: не обвинял, не оправдывался. Он писал теперь в основном о любви – к той девушке, которая дождалась его с войны:

«Девушка, любовь неугасима, ревности разбег неумолим. У тебя есть муж, ты кормишь сына, названного именем моим».

Писал он и посвящения друзьям, одним из которых стал известный впоследствии писатель, сын знаменитого репрессированного узбекского коммуниста Камил Икрамов. Икрамов, собственно, Грунина и

спас: тот уже «доходил», когда Икрамов почему-то выделил его лицо в толпе заключенных в оздоровительном пункте для доходяг.

- Ты кто?
- Человек.
- Нет, по профессии?
- Художник.

Чтобы доказать, что он художник, Грунину пришлось нарисовать Икрамова – очкастого, большеносого, – и двадцатилетний сын врага народа устроил его расписывать столовую. Грунин должен был нарисовать трех богатырей. «Только лиц им подольше не рисуй, – предупредил Икрамов, – иначе поймут, что ты закончил, и отошлют».

В результате столовая была расписана роскошно. Год, проведенный с Икрамовым – «какой человек, какая голова и душа!» – стал для Грунина самым счастливым. Это ему посвящено стихотворение, вошедшее в «Строфы века».

Там же – опять-таки всюду жизни! – Грунин влюбился в красавицу еврейку Лену Нудельман, которая иногда встречалась с ним в столовой. Об их романе Икрамов написал свое первое стихотворение: «Она нередко здесь бывает и за умеренную мзду его любимым называет и подает свою – любовь». Грунин выслушал и сказал, что из Икрамова получится писатель.

В сорок девятом Грунина перевели в Степлаг, на медный рудник Джезказган, где сидели одни политические и условия были много хуже, чем в пленах и даже чем в Усольлаге. Это был последний и самый дикий круг грунинского ада, и здесь написал он самые черные свои стихи – стихи без надежды на возвращение. Только ценой отказа от любых надежд можно было достигнуть той степени сосредоточенности, какая требовалась, чтобы писать в Степлаге. Здесь Грунин не отвлекался ни на какие мысли о жизни. Его дело было – зафиксировать этот опыт, а что будет с текстами дальше – неважно. «Будешь петь забывать, будешь медь добывать», – и верно, если что-то певчее есть в его прежних лагерных стихах, то в джезказганских, в рудниковых и степных, все уже выжжено – голое место.

«Бесцельным, в пути своем узеньком, в грядущем каком-то году смертельно измученным узником во тьму катакомбы уйдь».

Правда, и тут срабатывает механизм создания лаконичных и запоминающихся текстов – внутренние рифмы: «каком-то – катакомбы», и это уже неискоренимо, он скорее умер бы, чем перестал писать по-своему. Механизм был в него заложен, и это было все, что осталось в нем от живого.

- А женщины?

– Нет, в Степлаге все время хотелось только есть. Но когда вдруг встречалась женщина – например, брали меня иногда писарем в медпункт к красавице врачу, – я, конечно, обращал на нее внимание...

«Этот день – от утра до вечера – именую я золотым. Бесконечно и недоверчиво вы диктуете мне латынь. Интонация постоянная ни ворчлива, ни горяча. В ней – дистанция, расстояние от меня аж до вас, врача. От меня, такого молчальника, что в своей немоте увяз, – аж до вас, гражданин-начальника, с холодком близоруких глаз. Жду их взгляда голубоватого, останавливающегося на мне, точно ищет он виноватого в неизвестно какой вине. Я забылся – вы снова, мгновенная, своих глаз впрыгаете сталь. Простите меня, извините меня – я уже перестал. И опять заполняю бисером картотеку. Такой покой! Срок идет, а работать писарем все же лучше, чем бить киркой».

Как угодно, а такой любовной лирики в русской литературе прежде не было. А до прозы Солженицына о лагерной любви оставалось еще полтора десятка лет.

«Такие строки не умрут. Их веций смысл постиг теперь я: во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Во глубине, в углу, в себе, в Сибири, в сером серебре своих висков, во льдах, в граните – к своей земле, к своей судьбе терпенье долгое храните.

Не зло, не горечь, не печаль – они пройдут угрюмой тенью. Пред нами – дней грядущих даль. Храните трудное терпенье. Пусть ночью – нары, днем – кирка, и пусть сердца легкоранимы, пусть наша правда далека – терпенье гордое храним мы. Оно нам силой станет тут, спасет от мрака отупенья. Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье».

Эти стихи кажутся мне лучшим из того, что написано о сталинских лагерях, – и достойными своего эпиграфа.

...Кто читал «Архипелаг ГУЛАГ», особенно те, кто читал его до публикации в России, то есть во времена, когда книга была под запретом и запоминалась лучше, – помнит двенадцатую главу пятой части, «Сорок дней Кенгира». Это одна из самых красивых и страшных лагерных легенд России – Кенгирское восстание, как раз на месте нынешнего пригорода Джезказгана; и Грунин в Кенгире был.

Он глубоко чтит Солженицына, написал несколько его портретов, разработал по своему почину памятный знак для его премии, – но в главе о Кенгире, считает он, все идеализировано. Правду Грунин смог опубликовать только в 1990 году, в «Знамени», в небольшой заметке под рубрикой «Из редакционной почты». Недавно он опубликовал о тех днях повесть «Спина земли» – первую свою повесть, прозаический дебют на пороге восьмидесятилетия. Было так. В Кенгире мужской и женский лагеря стояли рядом, разделялись стеной. У Грунина была возлюбленная, везде у него находились возлюбленные, не для радости, а просто чтобы было для чего жить. Любовь, естественно, платоническая. Девушку звали Ганной. Видеться почти не виделись, переписывались. Летом 1954 года (уже сообщили, что Берия шпион, и Грунину сидеть оставался год) в лагерь, где до того были одни политические, со ст. 58, забросили огромное количество

уголовных, блатных. К блатным, кстати, Грунин относится лучше, чем Шаламов: «Среди них, конечно, были полные подонки. Многие называли нас, военнопленных,- фашистами. Но с ними можно было уживаться: я совестью не кривил, но жизнью не швырялся, это не последняя вещь – жизнь. Все блатные, как убийцы вообще, очень сентиментальны. Они уверены, что не сами выбрали свой путь, что их на него кто-то толкнул, а вот могло бы все быть иначе – семья, поля, мирный труд... Естественно, они обожают Есенина, а я его много знал наизусть. Романы тискал, что называется,- особым успехом пользовались «Анна Каренина», «Анна на шее», «Дама с собачкой»... И я многих из них склонен был уважать – среди них были волевые люди, а я люблю волевых людей».

Волевые блатные, попав в лагерь, сломали стену между мужской и женской зонами и ринулись туда. Так что восстание было не против режима и никакой идеологической природы не имело. Это было в буквальном смысле восстание плоти, как оно чаще всего и бывает.

Стукачи дружно ринулись под защиту охраны. Охрана была в растерянности. В восстании участвовало пять тысяч человек. Беспорядков такого масштаба в ГУЛАГе не бывало, Кенгир был первой ласточкой свободы. На работы никто не ходил. Грунин сначала в женскую зону не побежал – ему оставался год, как мы помним, и он боялся, что за участие в оргии срок продлят. Но любовь оказалась сильнее, он пошел к своей Ганне, и дни Кенгирского восстания оказались едва ли не счастливейшими в его жизни. Он вспоминает, как трещали вокруг нары, как шатался весь барак. И даже здесь привычка к стихосложению, неотступная потребность все превращать в текст не оставила его. «Июнь – в смешенье снов и лун, июнь – всеправ и юн, июнь, бедовый мой июнь, медовый мой июнь!» – это написано в дни восстания, когда все сознавали свою обреченность, но никто не знал, чем все кончится.

Восстание подавили пятью танками и дивизией. Руководство Кенгирским бунтом взял на себя майор Капитон Кузнеццов,- именно он предложил заключенным в конце концов объявить стихийное выступление забастовкой с требованием смягчить режим. Грунин считает, что таким образом Кузнеццов хотел обойтись меньшей кровью. Самоназначенный вожак получил расстрел, но был реабилитирован и освобожден. Во время подавления этого любовного бунта, вошедшего в историю как наиболее крупное антирежимное восстание в ГУЛАГе, погибло около семисот человек – точной цифры нет. Грунин остался жив и в 1955 году освободился. «Так я отзвонил, оттянул, отпахал свой червонец и вышел как был: не считая стихов, ничего нет».

Он сумел съездить к родителям, но за репрессированными площадь не сохранялась – жить в Ульяновске ему было негде. И он вернулся в Джезказган – строить город на месте лагеря. Здесь в нем в последний раз ожила надежда: будут печатать, он станет поэтом, художником,- ему еще только тридцать четыре! Но, хотя от отбытия ссылки его освободили, реабилитация не пришла: он ведь был арестован как изменник Родины, а не по доносу или оговору. Теперь, конечно, его бы реабилитировали. Но сам он просить об этом не хочет. А когда просил – такие, как он, обречены были носить клеймо. Так он и живет – непрощенным, без справки.

В первое время он оказался несколько даже захвачен пафосом общего строительства, подъема целины, возведения новых городов, написал несколько оптимистических стихотворений... Тем более что напечатали «Один день Ивана Денисовича», Он узнал себя в одном из героев и написал Солженицыну: откуда вы обо мне знаете? я вас не помню! Тот ответил: я не был в ваших краях, это совпадение. Грунин был уверен, что теперь его будут публиковать, и стал посыпать стихи всем, кого уважал: Твардовскому, Сельвинскому, Слуцкому... Все в один голос отвечали: это прекрасная поэзия, но теперь не время. А после 1964 года Грунин и сам понял, что если его время когда-то наступит – то нескоро.

На этом, думается мне, он и простился с последними иллюзиями и превратился в того замкнутого, иронического старика, каким я вижу его сегодня.

«Ведь на этике этикетки нет, а коньяк – тики-так – с этикеткою, и его, как требует этикет, для эффекта заем конфеткою. И вина налью, а вино – дермо: как вода из той кружки, в точности. Я фужером бью о фужер в трюмо: получается, вроде чокнулся. Я напьюсь, Бог свят, в упор, наполовину – помяну ребят, кто со мной побывал, пью за их успех, за весь белый свет, а еще за тех, кого больше нет. В голове опять голубая муть – и хочу я спать, а боюсь заснуть: увидеть во сне нудной лампы свет, увидеть, что мне снова тридцать лет».

Тридцать лет ему было в пятьдесят первом, в Степлаге.

Лагерь снится ему до сих пор. Стихи его с тех пор напечатаны в «Литературке», в нескольких коллективных сборниках, появилась единственная книга «Моя гранита» (до Москвы и Питера не дошла). О нем восторженно отзывались Татьяна Бек, Александр Зорин. Но больших московских публикаций, как и хоть самой маленькой московской книги, так и нет. Он посыпает стихи по-прежнему, но публикуют их редко. У него есть большой эротический цикл (по-моему, не самый удачный) – кое-что оттуда взял журнал «Андрей»...

После выхода «Строф века» – оцените, чем стало для него это событие!- он написал посвященную Евтушенко поэму «По стропам строк», итоговое свое произведение. Его дочь распечатала поэму на компьютере, он раздает ее знакомым:

«С тобой, Пегас, мы будем квиты, меня, коль сможешь, узаконь не у разбитого корыта. Куда ты скачешь, гордый конь, и где отбросишь ты копыта?»

Я же говорю, он ядовитый старик.

Но – одинокий житель Джезказгана, в котором почти нет у него сверстников, одинокий житель нынешней России, в которой почти не осталось людей с его опытом, единственный на весь Джезказган русский поэт, он не всегда усмехается и не от всех надежд отрекся. Ему осталось главное – величие предназначения и сознание его, а кто оценит – теперь, по большому счету, неважно. Вот эти стихи, новый русский самиздат, компьютерный набор для раздачи знакомым:

«Итак, напиши, что ты видел и что будет после всего, пока ветер смерти не вытер следы бытия твоего. Бывал я смутьяном, буюном, слепцом своего естества, но не был Иваном-болваном, который не помнит родства, а был из былины, из были, из боли – чувствилищем дня. И если кого-то избили – оно все равно что меня. Все ужасы камней и пыток терплю еженощно во сне. Во мне – завещанья убитых, замученных души – во мне. Не в завтра иду я, не к внукам,- иду во вчера, к старикам, к развалам, разрухам, разлукам, к распадам – назад по векам, к бурунам, буранам, бурьянам, подальше от мира сего, поближе к былинным Иванам, которые помнят родство. Ни ангелы Божьи, ни черти в моих не бытуют делах. Здесь строятся всюду мечети, но мне не помог и Аллах. Когда вы идете из храма в свой благостный праведный час, задумайтесь: в странах ислама на что вы оставили нас?»

Он действительно в очередной раз оставлен Россией – в Казахстане, где на него смотрят как на живой памятник, но где его стихи мало кому нужны. У него давно не было поэтических вечеров. Его стихи регулярно печатают только крошечная джезказанская газета.

– Все-таки, почему вы приехали?

– Я приехал,- отвечаю я неожиданно для себя,- потому что в России очень мало поэтов и мы стали принимать за поэзию чёрт-те что. А еще потому, что коммунисты на предполагаемый вынос Ленина из мавзолея предлагают ответить вносом Сталина в мавзолей. И призывы к этому спокойно печатаются в газетах, и некому возразить.

– Да, Сталин ведь цел, скорее всего,- спокойно отвечает он.- Я помню, когда его положили в мавзолей, все замечали: Ленин лежит весь желтый, а этот как живой, такой р-розовенький...

Интонацию, с которой он произносит это «р-розовенький», стоит послушать всем, кто кричит, что хватит о лагерях, и сколько можно, и должен же в стране хоть когда-то быть порядок, и выиграл же он войну, а кого сажал – так, может, и надо было, а зато при нем... и далее со всеми остановками весь митинговый набор. Грунина стоит послушать крепким хозяевам и каменнозадым хозяйственникам. Грунина стоит почтить всем, кто считает себя поэтом, выдавая на-гора очередной дурбурщыл. Грунина стоит знать тем, кто кричит о смерти нашей культуры.

Никогда она не умирает, наша культура. Просто мы сами ее слегка придушиваем, чтобы оправдывать свои теперешние свинства: для современного человека нет ничего опаснее нравственных ориентиров. Они ему показывают, в какое ничтожество он впал.

«Я молчал, сколько смог. Словно сломленный, смолк. Жил – кружил, как флагами обложенный волк. Здесь – заклятый, двужильный, затравленный,- жил, весь зажат в жалюзи из железа и лжи. Никого не кляну, покаяний не жду. Неприкаянный, окаянный, я пишу это все в девяностом году, неопознанный нуль безымянный».

2001 год. Дмитрий Быков